

Глава 1

Василиса

В свой черед коснется слуха
тот сигнал валторны строгой,
что вязать велит пожитки.
Ни пера тебе, ни пуха.
Отдохни перед дорогой.

М. ЩЕРБАКОВ
Памяти всех

Впервые я закричала в начале мая.
Свежие туристы поднялись на катера “Ливерпуль” и “Генуя” и поплыли не к берегам Нового Света, а на пляж Ланжерон.

Кричали торговки пирожками, квасом и рачками; мамы кричали детям: “Не перекупайтесь!”; кричали моряки друг на друга, привязывая катера к пирсам и подавая трапы, а на моряков кричали капитаны. Чайки кружили над ними и тоже, стало быть, кричали.

Дома кричал мой старший брат, потому что мама отсутствовала уже довольно долго — кормила кричащую меня, а папа был занят своими учениками и их родителями, которые на него кричали, потому что он никогда своих учеников не оценивал выше чем на четверку.

“Четверка с плюсом — это для господ бога, а пятерка — для меня!” — кричал папа, и за это на него кричал завуч, поскольку господ бога упоминать на родительских собраниях было не комильфо.

— Что такое “комильфо”? — спросила я у бабушки, когда научилась говорить. — Только не кричи на меня.

— С чего бы это мне на тебя кричать? Я что — изверг? — спросила бабушка, которая всегда старалась не кричать, так как

была родом из интеллигентной семьи врачей и фельдшеров, но ей не всегда удавалось. — “Комильфо” — это антоним моветона и синоним бонтонна.

Вместо одного я обзавелась еще четырьмя неизвестными словами. Так всегда было с бабушкой: она изображала из себя то аристократку, то базарную торговку, как будто так и не определилась со своим истинным призванием.

— Я таких слов не знаю, — честно призналась я.

— Горе ты мое неразумное. Гувернантку бы тебе, как в старые добрые времена. Она бы из тебя сделала человека. Ходила бы по струночке. Была бы мне полиглотом. Может, даже стала бы вундеркиндом, как твой брат. Так нет, разве кто-то займется ребенком? Разве у кого-то имеется на ребенка время? Совсем распоясалась. Выглядишь мне как пролетарий всех стран. “Комильфо” — это так, как надо.

— Ясно, — заключила я. — Значит, я — не комильфо.

— Будешь ты еще комильфо. — Бабушка потрепала меня по голове. — Обязательно когда-нибудь станешь. Комильфее не бывает.

И продолжила чистить картошку.

С тех самых пор все и зовут меня Комильфо. Сперва меня так называли воспитательницы в престижном детском саду “Сказка”, где воспитывались дети работников порта и дети их знакомых и родственников. Потом — учителя из нашей с папой школы, тренер по акробатике, ведущая английского кружка в Доме ученых, хоровик из Дворца пионеров, Алена Зимова, Митя Караулов, вся моя родня и я сама.

Вот, например, бегу я по Бульвару, залезаю на фонтан под Пушкиным, окунаю голову в массивную чашу, под струи, льющиеся из глоток чугунных рыб.

— Комильфо! — кричат ветераны Великой Отечественной войны. — Что ты вытворяешь? Как тебе не стыдно?! А ну слезай, не оскверняй память поэта! Он памятник себе воздвиг! Где твой дед?

После кровоизлияния в мозг мой дед заболел агнозией. Это такая болезнь, когда все видишь, но ничего не узнаешь.

Смотришь на грушу и не понимаешь, груша это или абрикос, а может быть, и вовсе кошелек. Думаешь, что глядишь на Александра Сергеевича, а он оказывается Михаилом Юрьевичем. И как тут не перепутать собственную внучку с соседской?

Дед наловчился узнавать предметы по запаху и прикосновению, а людей — по походке. То есть получается, что когда один орган чувств портится, можно положиться на другие. А та доля мозга, которая распознает движение, только косвенно соприкасается с частью, которая поломалась. В общем, дед мог смотреть футбол, где бегают люди, и читать газеты, а находить в холодильнике масло и хлеб затруднялся. Газеты он мог читать, потому что слова в мозгу тоже располагаются не там, где находятся лица, а в совершенно другом месте. Лиц мой дед не распознавал.

Я этим часто пользовалась. Когда дед приходил забирать меня из школы, я делала вид, что я — не Комильфо, и удирала в подворотню с Аленькой Зимовой через лаз в заборе. Бежала я специально в не присущую мне припрыжку, отбрыкивая ногами, чтобы дед не узнал меня по походке. Он стоял посреди школьного вестибюля и кричал: “Комильфо! Комильфо, ты где?” А меня уже след простыл, и я перепрыгиваю во дворах улицы Гоголя с одной стены на другую, а Алена страшует.

Потом мне было стыдно, но я все равно не могла отказаться от исследования черных ходов, которыми был утыкан весь город, как голландский сыр. В захламленных двориках с покосившимися балконами, кривыми гаражами и облезлыми стенами можно было подглядывать за изнанкой жизни. А время там навсегда застряло довоенное, а может быть, даже и дореволюционное. На обратной стороне Одессы воображение особенно обострялось, и я могла быть Кемугодно, и вовсе не обязательно Комильфо.

Дома на меня опять кричали и кормили котлетами с пюре. Пока все не съем, не встану из-за стола, и как мне не стыдно, у дедушки может случиться инфаркт, а это гораздо хуже агнозии, потому что с сердцем не играют, а с мозгом — пожалуйста.

С мозгом любил играть мой старший брат. Ему тогда было

очень много лет, несусветно много. С мозгом он играл в “Что? Где? Когда?”, в шахматы, в преферанс, разгадывал кроссворды наперегонки с папой и мастерил макеты самолетов и пароходов при помощи рук, но и не без помощи мозга. Брат был всеобщим любимцем, за что и получил звание Главного Вундеркинда. Из этого следует, что я титуловалась Второстепенным Вундеркиндом.

Правда, бабушка была права, и вундеркиндства во мне — “раз и обчелся”. Природа талантами меня не наделила. Училась я исключительно на тройки с плюсом, в акробатических пирамидах всегда размещалась внизу, являя собою устойчивую колонну для карабкающихся вверх тонюсеньких девчонок. По-английски умела произнести: “Вер из де дог? Де дог из ин де хауз”, а в хоре пела третьим голосом, что означало, что когда пели первые и вторые голоса, я продолжала успешно изображать колонну и открывала рот, только когда в припеве начиналось “пусть всегда будет мама”. Солнце и небо меня, стало быть, миновали.

А все потому, говорил хоровик, что я не пою, а кричу.

Зато у меня было богатое воображение, я умела вышивать крестиком и гладью, грызть ручки и ногти, знала все потайные лазы Жовтневого района, приземлялась всегда на ноги и плавала как рыба. Благодаря деду.

Еще до того, как дед заболел агнозией, он научил меня держаться на воде. Ведь задолго до того, как он заболел агнозией и научил меня держаться на воде, он был бортовым механиком на кораблях и воевал с фашистами в артиллерийском полку. Когда я хорошо себя вела, он показывал мне шрам, пересекающий его бедро, — след боевого ранения. Шрам уже давно не болел.

Дед был импозантен, статен и седовлас. С бабушкой у них оказалась одна любовь на всю жизнь. Они познакомились после войны, когда дед по пути домой в Херсон остановился на отпуск в Одессе. “Сделал привал” — так он говорил. В итоге визита к дальним родственникам, где гостила и юная бабушка, дед привалился к Одессе на веки вечные и стал гораздо боль-

шим одесситом, чем бабушка, которая была одесситкой корнями. Корни начинались на Екатерининской площади. То есть на площади Потемкинцев.

Когда-то бабушкиным родителям, зубным врачам, принадлежала колоссальная квартира с огромным количеством комнат, числом пять. Но потом семейство сослали в эвакуацию в Казань, где бабушка отморозила ноги, когда носила воду в коромысле зимой из реки. А когда они вернулись в Одессу, квартиру разделили на коммуналки, и им выделили две с половиной оставшиеся комнаты и чулан в качестве премии.

После эвакуации одесситов от неодесситов трудно было отличить, потому что в Одессе хотели жить все, даже те, кто не был из нее эвакуирован. И несмотря на то, что многих одесситов убили на войне, их ряды тут же пополнились новыми желающими.

“Подиспанец хорошенький танец, танцуетеся очень легко — подайте мне левую руку, и танец пойдет хорошо”, — пел дед, пританцовывал и отвешивал бабушке поклон. Танцевать я любила, а бабушка — не очень. После отмороженных ног у нее пропало всяческое желание подпрыгивать. Поэтому левую руку подавала деду я, а не она, и мы кружились вокруг обеденного стола по большой комнате на Екатерининской площади. То есть Потемкинцев.

После войны дед поработал в порту, а потом ему надоело, он решил стать лошадиником и получил место на ипподроме. У него было много знакомых в цирке, потому что ипподром и цирк иногда менялись конями по надобности. Так что я часто бывала за кулисами цирка и ипподрома и гладила лошадей по гривам. Иногда я садилась на них верхом.

У меня была любимая лошадка Василиса — спокойная и мечтательная, серая в яблоках. Мы с ней очень сдружились. Но однажды Василиса испугалась цирковой хлопушки, встала на дыбы и случайно сбросила с себя наездницу, стоявшую в тот самый момент в седле на руках. Наездница получила травму головы. За это Василису подвергли наказанию и отправили на колбасу.

Сперва мне об этом не сообщили, чтобы уберечь ребенка от потрясения. Но когда дедушкин сотрудник, дядя Армен, проболтался мне о горестной участи Василисы, я тоже получила травму головы.

Я закрылась в чулане, где хранилось постельное белье, довоенные полотенца, дореволюционные перины, изъеденные молью шубы и старая раскладушка, и отказалась выходить. Котлеты мне подкладывали под дверь, но я к ним не прикасалась, из уважения к памяти Василисы. С тех пор я никогда больше не ела мяса.

Родители были в ужасе и кричали на деда в страхе, что ребенок отоцает, бабушка кричала на родителей, брат кричал, что ему мешают сосредоточиться на защите Каспарова, но я не кричала, а беззвучно рыдала в запретную подушку, поскольку то, что проделали с Василисой, не влезало ни в какое комильфо.

Алена Зимова пришла в гости и долго стучала в дверь чулана, умоляя выйти во двор и вынести мяч. Я сжалась над Аленой, чей мяч на прошлой неделе был изгрызен бульдогом, принадлежавшим Мите Караулову, и открыла дверь.

— Ее убили, — сквозь слезы сказала я Алене.

— Кого? — спросила Алена.

— Мою лошадь.

— У тебя была лошадь? — удивилась Алена, которую я никогда прежде не посвящала в события моей внешкольной и внедворовой жизни.

— Была. Но ее больше нет.

— Бедная лошадь, — с глубоким сочувствием произнесла Алена. — Давай поиграем в “язнаюпятымендевочек”.

— Ладно, — согласилась я и вынесла мяч во двор.

Родители не пытались мне воспрепятствовать, как делали обычно, поскольку понимали, что свежий воздух полезен для травмы головы.

Во дворе мы разогнали всех голубей и взялись за мяч, но я не была вовлечена в игру и не могла вспомнить больше трех имен мальчиков, а все девочкины имена в моей голове были заняты Василисой.

Тяжело вздохнув, Алена достала из кармана куртки растянутую резинку для прыгания с отчаянными узелками по всей длине. Но поскольку во дворе в этот полуденный час мы были совершенно одни, а для игры в резинку, как известно, нужен третий или устойчивый стул, Алена попыталась криками вызвать во двор Митю Караулова.

Вместо Мити в окно третьего этажа высунулись головы Митиного бульдога и его мамы.

— Чего разорались? Митя делает уроки, — заявила голова Митиной мамы. — Не шумите — разбудите Митину сестричку.

Бульдог громко залаял.

Мы долго искали, к чему привязать лишний край резинки, но нашли лишь поломанный табурет о двух ногах и ржавую решетку подвала под лестницей, а скакать в резинку на ступеньках не комильфо, так что пришлось отказаться и от этой забавы.

— С тобой невозможно играть, — с обидой заявила Алена. — Скучная ты какая-то.

— Я не скучная, я травмированная, — попыталась я оправдаться.

— Из-за лошади, что ли?

— Ага.

— Да не в лошади дело, ты всегда скучная, Комильфо. Между прочим, с тобой не о чем разговаривать. Почему ты мне не рассказала, что у тебя была лошадь? Моя мама говорит, что ты только и умеешь, что по заборам лазить, а мы уже взрослые леди, и нам пора остепеняться.

Слово “леди” повергло меня в пучины отчаяния, потому что я моментально представила седых старушек в кружевах с круглыми брошками под горло, пахнущих чуланным нафталином и пьющих чай с сухарями. О моем богатом воображении никто не догадывался, даже дед, поскольку то была моя персональная тайна. Может быть, именно поэтому гибель Василисы так меня травмировала — ведь я не могла запретить себе вообразить ее превращение в колбасу.

Я не на шутку обиделась, отвязала резинку от решетки и бросила ее Аленке:

— Ну и иди дружи со своими леди, я с тобой больше не играю.

И я гордо развернулась и через темную арку первого двора направилась на Бульвар.

Никогда прежде я не ходила на Бульвар одна, потому как для того, чтобы попасть на Бульвар, следовало пересечь оживленный перекресток у площади Потемкинцев — миссия, которая мне еще не была доверена старшими. Пешеходные переходы гораздо страшнее черных ходов, тем не менее я посмотрела налево, потом направо, потом еще раз налево — и преодолела перекресток. Воодушевленная таким свершением, я показала язык уродливой глыбе из ищущих что-то на земле матросов и помчалась напрямик к Дюку.

Дюк был моим самым любимым памятником на свете и почти родным человеком. Не раз утешал он меня в печали и в тоске своей незыблемостью, был мудр и изящен, всегда смотрел ясным взглядом за горизонт, и я была уверена, что с высоты пьедестала ему видны не только Турция и Болгария, а и сама Америка.

Но не только персонально Дюк был мною горячо любим, но и его пьедестал, с разных сторон украшенный выпуклыми барельефами, на одном из которых изображался мешок с деньгами настолько всамделишными, что я не раз пыталась выковырять пальцами монеты из сумки бронзового человека со змеей на палке.

Вот и теперь я занялась любимым делом: залезла на подножие Дюка и принялась делать вид, что сейчас разбогатею.

Когда я разбогатею, думала я, сяду на корабль “Дмитрий Шостакович” и уплыву в Америку. Как тетя Галя и дядя Миша, которые уехали в Штаты до того, как я закричала впервые. Я никогда не видела их живьем, но фотографии, которые они присылали бабушке, могла рассматривать часами. На них улыбающиеся люди в разноцветных одеждах или невиданные огромные бутерброды, восседали в бархатных крес-

лах в огромных гостиных, купались в частных бассейнах и ходили в Диснейленд.

Когда разбогатею, первым делом поеду в Диснейленд и сяду на вертящийся космический корабль, думала я, кладя бронзовые монеты в карман. И никакая Алена мне не будет нужна, и плевать на третий голос и на акробатические пирамиды, все равно я никогда не хотела быть акробаткой, а мечтала стать балериной. В Америке стану первой певицей и главной танцовщицей в балете, и, во всяком случае, колбасу там делают не из лошадей, а из ветчины, это я знала точно.

— Помогите мне, пожалуйста, товарищ Дюк, — крикнула я, задрав голову к небу.

— Хорошо, девочка моя, — кивнул мне Дюк. — Я тебе помогу. Здесь тебе нечего делать. Здесь тебя никто не любит, не ценит и не понимает. Уноси отсюда ноги во-о-он туда!

Дюк указал свитком на маяк, который красным глазом мигал катерам, кометам и одному катамарану, заходящему в порт.

Легкий ветерок пробежался от моря вверх по Потемкинской лестнице, зашелестел в листьях каштанов и заплакал крупными слезами летнего дождя. Стало прохладно, я поежилась и поняла, что уже стемнело.

— Комильфо! — закричала перепуганная мама, внезапно возникшая у подножия дюковского пьедестала среди группы туристов и одного экскурсовода с желтым зонтом. — Ты с ума сошла?! Что ты вытворяешь? До чего ты хочешь нас всех довести? Как тебе не стыдно?! Весь дом на ушах! У бабушки будет инфаркт! Кто тебе разрешил самой... на Бульвар?! Хочешь, чтобы тебя цыгане украли?

Экскурсовод с негодованием покосился на маму, собравшуюся испортить представление туристов об Одессе.

— Одесские цыгане безвредны, — заявил он не то маме, не то своим подопечным.

Последние недоверчиво покачали головами и переместили сумки со спин и боков на животы, обняв их обеими руками.

Я вцепилась в ноги бронзового человека с палкой и змеей, но мама уже бежала вверх по ступенькам. Обняла и поцело-

вала в макушку, затем оторвала от моего защитника, схватила за руку и потащила домой.

— Что мне с тобой делать? — кричала мама по дороге. — Почему ты не можешь быть хоть на йоту такой, как твой брат, я не понимаю.

— Забери меня с акробатики и отдай на балет.

— Забрать тебя с акробатики после того, как ты два года жизни в нее вложила? Какая чушь! Ни в коем случае.

— Тогда давай уедем в Америку.

Мама замедлила шаг и грозно посмотрела мне в лицо.

— Тише! — громко сказала она. — Вслух такие вещи не говорят!

— Давай уедем в Америку, — шепотом повторила я.

— Никуда мы не уедем! — воскликнула мама. — Откуда только ты набралась этих глупостей? Бабушка дурит тебе голову этими своими родственничками.

— Но почему им можно уехать, а нам нельзя?

— Мы живем здесь. Это наша родина, наш дом. Здесь у всех работа, друзья, школа, кружки. Как ты себе это представляешь? Взять и уехать! Вот так вот все бросить — прощайте, любимые! — и драпануть неизвестно куда. Так, да? Так? Можно подумать, там нас ждут.

Мама очень сильно волновалась, больше, чем обычно. Обычно она как будто только делала вид, что волнуется, но на самом деле никогда не теряла самообладания.

— Мне здесь плохо, — сказала я.

— Какой холеры тебе не хватает? Живешь как у Христа за пазухой. Целый день шляешься по дворам. Ни во что не вкладываешься, ни одного дела до конца не доводишь. Думаешь, от себя можно удрать? Да хоть в Австралию уезжай, все равно оглянуться не успеешь, как сама себя догонишь.

Поскольку мама говорила с девятилетним человеком, я мало что могла ей возразить, поэтому повернулась лицом к Дюку, но увидела его удаляющуюся спину.

— Ладно, — сказала мама, успокаиваясь, когда мы подходили к подъезду. — Я понимаю, что ты потеряла Василису. Да, это

больно. Но нужно быть сильной. Расклеиться всегда успеешь. Так что соберись и возьми себя в руки!

Мама присела на корточки и взяла меня за плечи, легонько встряхнув.

— На деда посмотри и бери с него пример. Он войну прошел, ранен был, заболел агнозией на старости лет, но ничего, не умер. А ты... это всего лишь лошадь. К тому же ты не была с ней близко знакома. Вы виделись от силы пять, ну, шесть раз...

Тут я заревела так громко, что нарядные прохожие, судя по нарядности, спешащие в Оперный театр, замедлили шаг, обернулись и неодобрительно посмотрели не то на меня, не то на маму.

— Ну что за наказание! — опять вскричала мама и впихнула меня в парадное, а затем и в квартиру.

Там в самом деле все стояли на ушах, кроме брата, который, закрыв уши ладонями, сидел на подоконнике за занавеской и глядел на шахматную доску с тремя фигурами.

Бабушка взяла себя в руки быстрее остальных, отобрала меня у мамы и повела на кухню отпаивать чаем. Чай я не любила, но от бабушки готова была его принять, потому что она обещала после чая накормить меня шпротами.

— Слушай меня сюда, — сказала бабушка, опустившись на табурет. — Все это очень печально, Комильфо, действительно, я не спорю, и дядя Армен, идиот, травмировал твою бедную голову. Но так дальше продолжаться не может. Никто твоим воспитанием не занимается, а Дом ученых не в счет. Ребенок растет как трава. Так что я за тебя возьмусь, потому что я теперь, слава богу, на пенсии. Через неделю мы с тобой едем в Евпаторию. Дед остается, а со мной ты поедешь. Месяц будешь у меня кушать по-человечески.

Услышав волшебное слово, о котором было известно, что оно означает рай, я почти забыла про Василису, про Алену и про Америку, расплылась в улыбке и допила чай залпом.

Но Евпатория оказалась не раем, а только маленькой Одессой, с таким же морем и таким же солнцем. Фантазии в конечном счете всегда бывают интереснее настоящего.

Вместо круглосуточного купания, которое я себе намечала, мне предстояли испытания для головы.

Понимая, что природа обделила меня талантами, а голова моя травмирована бесповоротно, бабушка решила познакомить меня с талантами и головами других людей, поэтому в Евпаторию взяла с собой чемодан с книгами, которые извлекла из высоченного застекленного шкафа в большой комнате.

Сперва она читала мне книги вслух, а затем заставляла читать вслух ей, пока голос не начинал хрипеть. Тогда я вынужденно начинала читать про себя. Эта манипуляция привела к тому, что я очень быстро полюбила чтение про себя и меня стало трудно оторвать от книг, даже несмотря на то, что пляж находится в десяти минутах ходьбы от санатория.

И так случилось, что за время девятого лета после моего первого крика в голове моей Грей смешался с капитаном Бладом, Ункас с Атосом, и я уже не могла отличить Мориса-мустангера от кентавра Хирона, Паганеля от доктора Ватсона, Овода от мистера Рочестера и Айвенго от Ланселота.

Санаторий и сама Евпатория исчезли и пропали, и больше не существовало на свете никого, кроме Него, даже бабушки.

К концу августа я была впервые неизлечимо влюблена. Если бы спросили, в кого, я не смогла бы дать точный ответ, поскольку влюбилась я в человека, не существовавшего не только в реальности, но даже и на страницах книг. Так влюбиться можно только в плод собственного воображения, загубленного в нежном возрасте чужими представлениями об идеальном.

Тряслась электричка, звенел подстаканник, ударяясь о стекло стакана, за окном мелькал украинский пейзаж, а перед моим носом мелькал не то Рокамболь, не то один из многочисленных сэров Генри. Бабушка пристально на меня смотрела, подозревая, что ее усилия обернулись против нее самой.

— Ну? — спросила она, решив подвести итоги каникул. — И чего скажешь?

— М-м-м, — промычала я сквозь последнее песочное печенье.

Бабушка решительно вырвала книгу из моих рук и захлопнула на самом интересном месте.

— С тобой совершенно невозможно разговаривать! Скажи хоть что-нибудь.

— Я хочу отсюда уехать, — сказала я, взглянув на проносящиеся мимо поля подсолнухов.

— В Америку? — с надеждой спросила бабушка.

— К Нему, — ответила я.

— К кому это?

— Я не знаю, как Его зовут, — сказала я.

— Ах, не знаешь! Где же его тогда искать?

— В зачарованном саду за заколдованной оградой, — ответила я уверенно. — Он там ждет, пока я вырасту.

— Тоже мне, — презрительно фыркнула бабушка. — Комильфо и сбоку бантик.